



АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

**ДОДИК
В ПОИСКАХ
СВЕТА**

Андрей Лазарев

Додик в поисках света

«Издательские решения»

Лазарев А.

Додик в поисках света / А. Лазарев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834174-8

Ироническое «духовное путешествие». Нелепый и трогательный человек Додик Маневич ищет смысл и неясный свет, работает повесчиком картин в музее и менеджером агентства по усыновлению, перемещается по разным странам, доходит до Индии, встречает суровых учителей, художников, хиппи, борцов за Третий Иерусалимский храм, сатанистов и более мирных сектантов и коллег — духовных искателей, — живет в монастырях и ашрамах, пытается просчитать свою судьбу, смотрит многозначительные фильмы, влюбляется и т. п.

ISBN 978-5-44-834174-8

© Лазарев А.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. В потемках души	6
Глава 2. Утренняя звезда	13
Глава 3. Свет не вечерний	22
Глава 4. Мощь просвещения	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Додик в поисках света

Андрей Лазарев

Когда внутри человека накапливается большое количество тонкой материи, наступает такой момент, когда в нем может сформироваться и выкристаллизироваться новое тело – «до» новой, более высокой октавы.

«Взгляды из реального мира», Г. Гурджиев

Мефистофель:

Кто долго жил – имеет опыт ранний

И нового не ждет на склоне дней.

Я в годы многочисленных скитаний

Встречал кристаллизованных людей.

«Фауст», И.В.Гете.

© Андрей Лазарев, 2016

ISBN 978-5-4483-4174-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. В потемках души

На третий или четвертый день после того, как Давида Маневича привезли из роддома, по телевизору начали показывать «Вечный Зов». «Говорят, очень хороший фильм», – сказала бабушка Серафима. А Галя, разудалая матушка Додика, потребовала, чтобы в их комнату принесли маленькую, черно-белую «Юность».

Додик лежал распеленатый на клеенке в эмалированном корытце. Сестра Гали, Таня, сказала, что ему так полезно. Додик мог писать в свое удовольствие, прямо в корытце. Но вместо этого он сделал странное. Едва надвинулись первые титры, и зазвучала вводная музыка, как малыш дернул ножкой, весь сморщился от натуги, и приподнял голову!

«Господи! – изумилась бабушка Серафима, – что же он делает?»

А так Додик впервые отреагировал на вечный зов. Через секунду его головка под собственной тяжестью перевалилась назад, и шея у него вытянулась.

Тетя Таня обрадовалась: растет вундеркинд! А вырос настоящий цыпленок: с вечно свисающей то на одну, то на другую сторону головой. В школе его все звали Цыпленок, и только дома, когда хорошо чистил картошку, сам, без напоминания, выносил мусорное ведро и кормил кошку Даму, его звали Додиком. Что, впрочем, было почти то же самое.

Времена для роста еврейского самосознания были неважные. К тому же семья их проживала в Москве, а не в сонном южном городке, поэтому никаких обрезаний, скрипок, мацы и прочих традиционных глупостей в детстве Додика не возникало. Дед углублял и расширял советскую геологию, до семидесяти ездил на Камчатку и при словах «Тора», «Талмуд» или, к примеру, «богоизбранный народ» кричал, как утка, и вываливал на собеседника еврейские анекдоты.

Он утверждал, что благодаря им и выжил в войну. Едва он, молодой лейтенантик, попал на фронт командиром танкового экипажа, как экипаж его невзлюбил. И за нос, и за шибкую грамотность, и вообще. Решил экипаж порешить своего еврейского командира, в детской надежде, что им назначат старого, своего русского доброго дядьку, которому оставалось долечиваться в госпитале меньше недели. Бравый экипаж разработал хитроумнейший план – что-то связанное с имитацией производственной травмы при стрельбе – но тут дед начал рассказывать анекдоты. «Я ведь не шмазель какой-нибудь был, не тупак, я шеей своей чувствовал, что они там затевают. Ну, вот и выкрутился». Экипаж призадумался. А потом дед поссорился с особистом, тоже евреем, и стал рассказывать анекдоты исключительно в его честь. Анекдоты кончились через две недели – к тому времени старого командира вылечили и отправили в другую часть, особиста застрелили свои в результате партийной борьбы, а дед Додика выжил. Эта история военной Шехерезады надолго врезалась в память Давида. И благодаря дедову сарказму все атрибуты иудаизма казались ему чем-то из области «Ералаша».

Прадед Додика переступил черту оседлости на лихом буденовском жеребце. Переступать ему так понравилось, что лет десять он только это и делал, на жеребце – туда и обратно. Один раз чуть до Харбина не доскакал.

В лихих набегах на неохваченное социализмом население всегдашним приятелем патриарху-Маневичу был ординарец и гармонист Венька Гаков. Его задумчивый правнук учился в той же школе, что Додик, но только был на три года старше.

Отец у Додика как бы был и его как бы не было. То есть с каждым годом он бывал дома все реже, а где-то в районе Иркутска и Новосибирска все чаще, так что, когда Додик все же уверовал в его существование, никаких материальных доказательств уже не осталось. Отец Додика занимался чем-то критически важным. Но чем? То ли искал ценные металлы, то ли сравнительно исследовал тувинцев и бурят, неизвестно. Время от времени от него приходили посылки с занятыми, но восхитительно ненужными вещами. Однажды он прислал

целый ящик кедровых шишек, с подробной инструкцией, как после выколупывания орешков сварить очень целебный чай из шелухи. Бабушка Серафима чай варила и честно пила, все остальные отказывались. В другой раз он прислал десять копий Булгакова, «Мастер и Маргарита», объяснив, что купил их в сельмаге какой-то сибирской деревни. Со свадебной фотографии на сына смотрел невозмутимый носатый интеллигент: во взоре его было столько тумана, что можно было захлебнуться. Конечно, Додик мог вспомнить, что пару раз видел отца и воочию, но это казалось неубедительным. Мама, бабушка и все прочие, даже мимоезжие родственники предпочитали о таинственном папе не говорить. Впрочем, однажды кто-то из дальних обмолвился: по его словам выходило, что папа уже давно обзавелся не только другой женой, но и парочкой додиков на просторах Южной Сибири.

Преждевременный порыв в эмалированном корытце оставил свой след на всей жизни Маневича-младшего. На школьных фото он представлялся каким-то печальным хорьком, который простодушно не замечает напиравшую со всех сторон толпу одноклассников, и, словно бы отдыхая, склоняет голову на правое плечо – всегда на правое! Однако на фотографиях вне школы, на семейном просторе, голова тяготела влево. Иногда, будто очнувшись от скверного сна, Додик вытягивал подбородок вперед, стремясь уравновесить впалые щеки. Но тогда голова просто-напросто запрокидывалась назад, и на фото от всего лица оставались испуганные трубочки-ноздри.

Это было не единственное следствие: организм Додика, будто поняв, что с хозяином ему крупно не повезло, и заботы никакой от него не дождешься, мстительно подцеплял все возможные вирусы и микробы. Додик болел скарлатиной, ветрянкой и свинкой. Он ломал длинные пальцы, что, возможно, уберегло его от музыкальной карьеры. Он набивал себе шишки, которые по величине могли составить конкуренцию даже его носу, что было непорочно. От свинки у него развился менингит и Додика забрали в его первую долгую больницу. Впрочем, ему там понравилось. Медсестры смотрели на него и его девятирх товарищей по несчастью с ужасом и любовью. В те годы менингит легко приводил к самым жутким последствиям, и медсестры проводили дни в ожидании, кто из десятки спятит первым; Додик, естественно, был для всех самовозможнейшим кандидатом. Поэтому их баловали. Им делали какие-то изысканные пудинги с изюмом и курагой, варили компоты. Их ласково полоскали в ванночках и тазиках. Им громко читали веселые книги. А еще – чего медсестры совершенно не учитывали в своих расчетах – с ними работал великий профессор Натсон, и в результате все десять вышли из больницы без видимых изменений. Бабушка Серафима полгода не верила, что младший Маневич остался при своем уме: так мало его было заметно, что до болезни, что после. Но тут у мальчика обнаружился странный дар. Мама склонна была толковать его как болезнь, бабушка – как генетическую одаренность, тетя Таня как ерунду. Додик начал методически выгребать деньги из-под касс в магазинах. Он сопровождал мать в походе за дефицитными продуктами, покорно подставлял шею под ожерелье туалетной бумаги, и вдруг, словно нехотя, медленно наклонялся с лицом, полным муки, и выуживал из-под кассы, или даже попросту поднимал с грязного пола копеек десять. В ребенке не замечалось особенной страсти к этому занятию: он застенчиво брал то, что для него лежало. Изредка он тратил деньги сразу же, на чепуху, иногда отдавал матери, но чаще всего – терял или складывал в копилку, традиционного поросенка. Бабушка не переставала радоваться, хотя сама же первая густо краснела, когда внук, натужно сопя, вдруг плюхался на колени перед прилавком, и, шаря своей рукавицей, будто сачком, подгребал к себе горсть медяков. Рекордом Додика было подхватывание целых 500 рублей с обледенелого тротуара. Пять купюр небрежно валялись, и Додик их подобрал.

Уже у своего подъезда, он поинтересовался у дворничихи, имеют ли ценность купюры 1961 года выпуска. Ему казалось, что это какие-то исключительно коллекционные, древние деньги.

«Полную», – подтвердила та, шмыгнула носом и горько вздохнула.

Мама долго истерически хохотала и на следующий день расклеила на столбах вокруг места находки объявления очень туманного смысла. Позвонил некто, потерявший прошлым летом велосипед и еще один, обронивший в автобусе кошелек. Деньги остались в семье: Додику купили шапку-пирожок из каракуля. Бабушка окончательно уверилась, что внук в жизни не пропадет: сам не заработает, но обязательно свалится в тот овраг, где лежит горшок золота.

Ибо Додик продолжал падать. И госпитализация стала его привычным времяпровождением. В конце каждого учебного года его будущность висела на волоске: спасало лишь мужество мамы Гали, которая науськивала сына на любой школьный предмет буквально за день или два. Додик лежал в больницах обычно не больше недели. Он привык знакомиться с самыми разными людьми, включая и страдающих взрослых. Привык и к тому, что каждый стремится ему передать частицу своей жизненной мудрости. Он научился играть в шашки и преферанс, но ни того, ни другого не полюбил. Он мог часами слушать какого-нибудь пожилого бухгалтера Иваницкого, бредившего Эллиотом и Джойсом, и помощника завскладом, вислоухого черняша дядю Сережу, тайного последователя Рериха и Блаватской во втором поколении. Но, слушая, Цыпленок буквально ничем не заинтересовывался. Он просто кивал своим носом, мотал головой, и ждал непонятно чего: хотя бы компота в обед.

И вот, когда Додик-Цыпленок перешел в пятый класс, у него случилось первое духовное переживание. Он был на даче, которая каким-то невероятным образом осталась у их семьи – хотя получил ее, и лишь на время, когда вышел на пенсию, еще прадед Додика, тот самый бывший портной и лихой комиссар времен гражданской войны. Сверстников в дачном поселке не проживало. Самым близким по возрасту был Саша Гаков, правнук ординарца, который тоже получил со временем дачу в том же поселке. Саша Гаков, называемый просто Гак, собирался бросить школу сразу после восьмого класса и учить переплетное дело на фабрике «Госзнак», так он любил разные книги. За постоянным отсутствием отца Додик прибил к Гаку. Тот терпеливо нес крест шефства над убогим потомком бравого кавалериста.

В то самое лето он завел Додика в фотокомнату своего дяди, победителя международных конкурсов и тайного диссидента. Додик понял, что ему здесь откроют какую-то тайну. «Вот, – сказал Саша, выключив всякий свет, в том числе красный, и вручив Додику зеркало. – Смотри в него, в темноте. Что ты видишь?» Додик неуверенно сказал, что ничего не видит, потому что темно. «Смотри лучше», – настаивал Гак.

Додик старался минут двадцать, потом сообщил, что ему страшно. «Что, мерзость увидел? – спросил язвительно Саша, который от нетерпения выкурил уже две сигареты „БТ“, сташенных у отца. – Или так, чудищ? Жуков-пауков-трилобитов?» Додик подумал и признал, что, пожалуй, и пауков. «Ну вот! – Саша включил снова свет, только красный. – Это ты свою душу увидел, усек?»

Додик затосковал. Душу в виде паука он себе не очень-то представлял. И как-то сразу забыл, что в зеркале на самом деле ничего не было. «Подсознание... – подлил масла в огонь Саша, злорадствуя. – Через зеркало все выступает! Черная у тебя душа, выходит, Цыпленок. Черная и мохнатая».

Давид не спал целую ночь и думал о своей паучье душе. Он уже не сомневался, что видел в зеркале паука. Он лежал в темноте и думал тоже про темноту, только внутреннюю. А наутро решил как можно быстрее узнать все про душу и привести ее в какой-нибудь более

приятный для созерцания вид. Однако это «быстрее» растянулось на много лет. Несчастный Цыпленок словно предчувствовал, что путь ему предстоит очень долгий, мучительный, и не слишком торопился на него ступить.

Мама Галя, когда он заговорил с ней о душе, ужасно удивилась и решила, что у ребенка проснулась древняя кровь, что он хочет вернуться к религии своих предков. «Ну, сходи в синагогу», – сказала она неуверенно, и тут же, верная скептицизму Маневичей, рассказала, что синагога в Москве находится в двадцати шагах от улицы великого антисемита и героя украинского народа Богдана Хмельницкого, а заодно, что раввин в синагоге пользуется непопулярной репутацией стукача.

Про репутацию Додик не понял, а про Хмельницкого знал и сам, что герой давно уже помер и никому поэтому угрожать серьезно не может. Он пошел. У входа в синагогу его встретил дружелюбным взглядом какой-то стройный, красивый юноша в кипу и таинственным шепотом предложил вступить в еврейское историческое общество. Но Додика история не интересовала. Он попер сразу внутрь. И наткнулся на завизжавшего от негодования маленького старичка, который заплесал вокруг него, что-то яростно бормоча. Додик остановился и, не выпуская старичка из поля зрения, бросил взгляд на доску объявлений. Там тоже куда-то звали. Вполне возможно, чтобы объяснить что-то важное. «Молодой человек! – наконец, произнес старичок отчетливо и хлопнул Додика по голове. – Как же вы так?» И снова хлопнул. Давид перепугался. Он не знал, что всем в синагоге полагается носить кипу, или как ее называли у них в доме, ярмолку. А старичок продолжал хлопать его по макушке и расходился все больше и больше.

Наконец, Додик не выдержал и, расширив глаза от ужаса, рванул и от старичка, и от манящей доски объявлений – наружу, прочь из синагоги. «Стой! – затормозил его красивый юноша у дверей. – Брат еврей, а знаешь ты наш алфавит?» Додик помотал головой, ожидая, что в следующий миг за ним вдогонку выскочит из синагоги сумасшедший старик, но тут же получил какую-то свернутую вчетверо бумажку. «Это – путь ко всей нашей культуре!» – пояснил юноша ласково. «И религии?» уточнил Додик шепотом. Слово «религия» он услышал от мамы накануне. «И религии. Приходи завтра сюда же». Дома он развернул бумажку. В середине ее был нарисован незнакомый значок, и стояло объяснение: «Алеф».

Додик ничего не понял. Но в синагогу больше не пошел. Уже много позже он догадался, что правильно сделал: ну, получил бы еще одну бумажку, с буквой «Бет» и что? Нет, возможно, он привык бы ходить на «Горку», как называли Московскую синагогу «свои», молодые евреи, слушать задумчивых, полнопечальных канторов, и глядеть на купол, который, по уверениям Александра Галича, был синее, чем небо. Но, увы...

Благодаря советской власти, смешливому дедушке и невежеству мамы религиозная жизнь Давида началась совсем не с иудаизма. Это тройственное сочетание можно назвать судьбой Давида Маневича. Ее первым решительным проявлением. Судьба противоречила самой себе.

Отец, старший Маневич, хотя и исчез, но честно передал Додику свою интеллигентную внешность и наградил именем, откровенней которого придумать было затруднительно. Но не только: он передал все, что мог, словно пытаясь возместить свое реальное присутствие: и нос, и манеру гнусавить, а главное – крест еврейства. Тот самый, который, например, мать Додика вовсе не тяготил. Но отца, по смутным намекам прочих родственников, он когда-то весьма беспокоил.

Не то, чтобы Додика унижали в школе, на улице, в пионерской и комсомольской организации, нет. Даже слово «жид» он узнал не от злого соученика, а прочел сам, в мужской раздевалке. Там было написано: «Бей жидов, спасай Россию!». Додику это понравилось. Под жидами он, как и многие в те года, понимал жадных, корыстных негодяев, навроде Витьки Стекланного, который всегда «жидился», зажимал разные важные в геометрии при-

способления – угольник и ластик. И вот, очень довольный собой, Додик вернулся домой и с порога весело закричал: «Бей жидов, спасай Россию!». Его подкупил лаконизм. Бабушка Серафима поперхнулась компотом, а, откашлявшись, забила в приступе хохота. Мама, узнав о лозунге минутой позже, тоже рассмеялась. Додику быстренько объяснили, кого называют жидами. Никаких неприятных чувств у него это не вызвало.

Хотя еврейское наследство явно имелось, но никаких неприятностей, что до похода в синагогу, что после ему не приносило. Его внешность была такой характерной, а телосложение столь субтильным, что все даже стыдились ему об этом напоминать. Возможно, прощали за откровенность. Ведь, кроме внешности, он обладал таким явным прононсом, что даже мама и бабушка охали, заслышав порой прямодушное «г-г-г» вместо «р», какое-то «ф» вместо «ш» и «ч» и множество других фонетических огрехов.

Приглашенные специалисты не помогали. Другие, посторонние люди хмурились, но... все спускали такому тщедушному. Короче, его не били. Только раз его удивили.

Дело было весной, и, возвращаясь домой на улицу Героев Панфиловцев, Додик часто видел лежащих то там, то здесь, отдыхающих грязных людей. Но в этот день весна отступила – и землю чуть-чуть подморозило. Движимый исключительно состраданием, Додик подошел к одному из лежащих. Он подумал, что лежать с удовольствием в такую погоду человек явно не может.

«Вам плохо?» – спросил он участливо.

«Было хорошо, пока ты не подошел», – сварливо ответил расслабленный человек.

Говорил он совершенно отчетливо.

«Вам помочь?»

«Отойди, а то не выдержу», – ответил тот.

Додик застыл, размышляя, что бы это могло значить.

«Отойди, – заныл человек. – Или хотя бы морду свою отверни, чтобы не так хотелось».

Давид совсем распоясался и сказал уже откровенно гнусаво – потому что расстроился:

«Ну, да фто вы...»

Лежащий только вздохнул. Он был мыслитель и поэтому напоследок сказал:

«Это же надо же – так и разгуливает! С такой мордой разгуливает! Не стесняется, гад!»

Додик сильно огорчился. Он даже покраснел. В его голове не вмещалось, как можно быть таким странным.

Этот случай он порой вспоминал и потом, тем более, что значительных событий в его жизни пока не происходило. И то сказать, что могло бы произойти? Мама с бабушкой, тетей и Гаком делали все, чтобы он не ощутил чего-нибудь оскорбительного для самосознания и самоуважения. Он ходил в школу, задумчиво созерцал игры детей во дворе, иногда посещал зоопарк и ждал чего-то.

Школа его совершенно не радовала. Там играли в замечательную игру. Грудились у Додика за спиной, по очереди тыкали кулаком и требовали угадать, кто именно тыкнул. Додик никогда не угадывал, хотя и старался. Интерес к нему быстро теряли. Если забыть об игре, о ежегодных хлопотах в мае, связанных с пропусками по болезни, школа вообще не вызывала у него никаких чувств. Там учили какой-то томительной галиматье. Причем каждый педагог, от толстопузого математика Иосиф-Исакыча, который, волнуясь, плевался так, что один старшеклассник однажды не выдержал и громко сказал: «Ребята, дайте мне полотенце!», до сушеной русички Карины Петровны, – каждый твердил о невероятной важности своей науки для постижения мира. Но объяснить что-либо толком они не могли. Додик был однажды свидетелем того, как его одноклассник, подававший некоторые надежды на ум, загадочный прогульщик и двоешник чеченской национальности по имени Увайс, подобрался к химичке Татьянке. Она славилась своим пониманием молодежи; Увайс был постоянно мучим то национальными, то экзистенциальными вопросами. «Татьяна Ар-р-рка-

дьевна!» – пророкотал он, тормозя ее в коридоре. Та хлопнула на него ресницами. Увайс еще минуту назад толковал Додику что-то о связи лени, или, как он говорил, «безмятежности», с философическим знанием. Кроме того, у него напрашивалась двойка в году по физике, математике и черчению. Химичка покосилась на его нахальные пробивающиеся усишки:

«Да-а-а...?».

Ей захотелось курить: маячивший неподалеку Маневич наводил на мысли о сговоре.

«Вы в математике петрите?» – начал Увайс издалека.

Химичка испугалась всерьез.

«Ну, сечете?» – переспросил он.

Ему, наверное, казалось, что так понятнее.

«Секу», – пересохшим ртом отвечала Татьяна.

«А она нужна?» – уныло спросил хитрый двоешник.

«Нужна», – выдохнула химичка.

«И мне?» – тут Увайс подбочился.

Решив, что на мальчика обрушилось сексуальное созревание, химичка совсем напряглась и кивнула.

«И физика?».

Она кивнула опять.

«А литература?» – встрял Додик.

«Глупости какие-то... – растерянно сказала Татьяна. – У вас что, контрольные?»

Тогда Увайс смерил ее презрительным взглядом, махнул рукой и удрал. Химичка стеснительно покосилась на Додика. Но у него тоже исчезли вопросы.

«Глупости... – повторила она и закончила испуганно-наставительно: – Вы бы лучше о другом подумали... В стране перемены. Много перемен! Вам бы...» – она запнулась, покраснела и убежала.

Но жизнь огромной страны Додика тоже мало интересовала. Когда в школе объявили перестройку, он коротко сообщил об этом матери, та выдала ему анекдот: «перестройка-перестрелка-переключка-перестук», и на этом обсуждение в их семье заглохло.

К тому времени появились заботы поважнее: Цыпленок стал принимать посильное участие в домашнем хозяйстве. Мама Галя вдруг очнулась и поняла, что от дальне-сибирского папы ей нечего дожидаться. Бабушка слишком часто погружалась в воспоминания светлого прошлого. Поэтому Додик теперь служил маленьким, грустным верблюдом. Мама бегала по магазинам и занимала очереди, а потом звонила и командовала приходить – потому что на одного человека давали значительно меньше, чем на двоих. И Додик приходил к указанному магазину, а потом возвращался, с гирляндой туалетной бумаги или сумками какой-то, неожиданно ставшей редкой крупы. Бабушка охала. Додик невольно всё-таки жил жизнью страны.

Порой он ходил в магазин не с мамой, а с Гаком: тот к своим обязанностям относился очень ответственно. Восхищал окружающих, когда выуживал самый крепкий и свежий капустный вилок с самого низа огромных лотков с крупной решеткой, похожих на манежи для младенцев, в овощных магазинах. В букинистах, по его словам, он также ловко выхватывал какие-то редкие книги. Его хвалили. Додик не завидовал, а относился все более почтительно и внимательно. Гак приходил к ним домой и учил делать сметану из кислых сливок, а майонез – из самых разных ингредиентов. Под его руководством бабушка Серафима несколько раз солила огурцы и квасила капусту. Но у нее ничего не выходило – капуста горчила, а огурцы покрывались соплями. В Гаке все Маневичи-дамы видели опору прочнее, чем в Додике. Но Додик не возражал.

Участие в пионерской организации на нем никак не сказалось. Был он вял и уныл: интерес у него просыпался к столь экзотическим вопросам, которые на собраниях не поднима-

лись. Хуже того: даже зарницы, беганье с палочкой по кругу, прыжки через бревна, пионерский костер и его тушение мужским способом Додика не привлекали. В пионерском лагере он скис в первый же день. На второй подъехала бабушка, с запасом помидоров и настоящего, не самодельного майонеза. Додик мрачно сообщил ей, что уже упал в обморок на утренней линейке, едва не утонул в речке Чуша, фельдшерица натерла его чем-то жгучим на сон, а, сегодня, проснувшись в больничной палате, он обнаружил в своих трусиках заскорузлую, мерзкую зубную пасту, и до сих пор не знает, откуда она там взялась. Бабушка тоже не знала, но заподозрила сугубо мужскую болезнь. Она настояла, и маме Гале пришлось эвакуировать дитя без каких-либо признаков коллективизма на четвертый же день.

В общем, детство ознаменовалось немногим. Кроме вышеизложенного, в памяти Додика осталось еще одно: приезд кенгуру в зоопарк. Большой серый зверь некоторое время приплясывал за сеткой «рабица» в просторном вольере. Додик смотрел на него, на слона, на тапиров и испытывал какое-то умиротворение. Он находил в них сходство с собой. Он приходил поглядеть, как монтируют новые клетки и готовят переход на новую территорию. Потом он в ужасе углядел, как серого кенгуру провезли на тележке: бедняга умер, не выдержав севера. Додик чудовищно огорчился. Может быть, с этого и начался его подлинный духовный рост. Он задумался о жизни и смерти, плавно перешел на смысл обеих, предположил некий свет в конце туннеля и устремился к этому свету – насколько позволяла нескладность фигуры и неразвитость речи.

Глава 2. Утренняя звезда

Однако еще очень долго духовный путь Давида Маневича по-прежнему определял томительный страх в отношении собственного нутра. Психианализ учит, что задумчивые взрослые произошли от скрытных детей, которые проявляли повышенный интерес к деятельности своего кишечника. У Додика было не так. Кишечник его ничуть не волновал. Душа – и только.

Его страшные подозрения о своей паучьей натуре только подтвердились, когда он немного подрос. В тринадцать лет у него были невероятно большие руки и ноги, с чудовищно длинными пальцами.

«Это арахнизм, – равнодушно определил начитанный Гак, уже давно забывший об эпизоде с зеркалом в фотомастерской. – Паучья болезнь».

Тогда же выяснилась самая трагическая подробность умственной организации Додика. Он не мог читать духовные книги. Даже от писаний графа Толстого у него начинала болеть голова, что уж говорить о прочей духовности! При одном только виде «Бхагаватгиты», которую уже тогда таинственно продавал при общежитии МГУ бритый нервный мужчина в цветастой одежде, Додика вывернуло наизнанку. Причем буквально: и так не слишком чистый кафельный пол перед студенческой партой, заваленной незаконными ксероксами принял на себя миску борща, макароны с котлеткой и еще что-то, не слишком опознаваемое. Уборщица Ангелина, свирепая бабка в красной бандане, сначала избила Додика тряпкой, а потом заставила его этой же тряпкой все подбирать. «Такой маладой, а вже алкаш!» – процедила она. Додику было так стыдно и неудобно на этом кафельном полу, что он понял: во-первых, он никогда не станет студентом, ни здесь, в МГУ, ни где-либо еще, и, во-вторых – с этими книгами надо быть осторожнее.

Саша Гаков, совершенно выросший в развеселого бугая (а ведь еще в четырнадцать лет ему предлагали наняться грузчиком в один выгодный магазин) о переплетном деле забыл и стал вольным художником. Но он был по-прежнему падок до литературы – и как раз такого, «внутреннего» рода. Он-то и выявил странность Цыпленька.

Проблему они исследовали вдвоем. Перестройка дошла до духовности, и даже «Политиздат» публиковал трактаты дремучих тем и времен. Гак приносил разные книги, и, сочувственно помаргивая воловьими ресницами, ждал, как Додик к ним отнесется.

Ни «Молот Веды», ни «История сношений человека с Дьяволом», переизданные в подарок всем любителям мистики, не вызвали у Давида никаких вредных реакций. Гак рассудил, что они движутся правильно. Он продолжал носить все подряд, пока Додик не воспротивился.

«Зачем мне вообще читать? – спросил он мрачно. – И так проживу».

Гак подивился упрямству подшефного, но настаивать не стал.

Несмотря на то, что Додик мало читал, очков ему избежать не удалось. Маленький велосипед сел на его переносицу, когда ему было десять, и с тех пор уже не слезал. Читать то, что ему хотелось, Додик не мог, а что мог – не хотел, но именно из-за мучительных экспериментов со священной литературой, когда его голова раскалывалась, а глаза вылезали из орбит, зрение все же испортилось окончательно. Так что вид у него был, что надо: начитанного мальчика из хорошей еврейской семьи. Гак решил так: о чем Додик думает – все равно ведь никому не интересно. Кроме Гака, конечно, но тот все знал и так.

Мама Галя отнеслась к проблеме сына спокойно: она всегда говорила, что его вид и так говорит о повышенной начитанности. И, что, мол, усугублять не стоит.

Гак же выявил и продолжение загадочной болезни Додика: того тошнило не только при чтении. Даже на пересказы он умудрялся как-то реагировать. Скорее всего, как определил один знакомый отца Гака, психолог, мальчик просто быстро переутомляется. «Он пытается что-то понять, голова не переваривает, и желудок вываливает» – определил он вкратце. Но Гак догадался, что дело было не в длительности пересказа. Чаще всего Додик начинал подозрительно пухнуть в щеках, подергивать кадыком и даже отвратительно шевелить скулами, едва его собеседник употреблял ключевые слова: «знание», «тайное», «мудрость», «смысл жизни», «вечное» или «духовное». Объяснений этому не нашлось. Гак быстро, на собственном опыте, выяснил, какие именно слова и даже шире – понятия – не приемлет желудочный тракт Маневича-младшего, и больше их не употреблял. Сложнее было с чужими людьми, например, знакомыми матери, но, когда Додик мог, он просто вежливо извинялся, и уходил в свою комнату. Гораздо хуже оказалось то, что, зная о своей проклятой особенности, он только того и желал, что проникнуть в запретное. Нет, читать – не хотел, но узнать! Его это задело: он вышел из детского сна, он должен был выяснить, что же от него скрывается таким скандальным образом.

Однако, решив не читать никаких священных писаний, он теперь остался один против целого мира загадочных знаний, и вынужден был пробираться по жизни на ощупь. Гак тоже понял, что Додик теперь обречен на устные передачи, причем, весьма деликатно проделанные. Он и стал тем, столь нужным Додику, устным передатчиком. «Репродуктором», как он сам себя называл.

Гак матерел на глазах. Он стал пропадать у каких-то новых, замечательных знакомых. О некоторых из них он сдержанно повествовал единственному доверенному слушателю. Тому самому, который, кроме слушанья, ни на что не был способен.

«Смелые люди, – повествовал Гак, теребя меховой подлокотник кресла Маневичей, – ты понял?»

Додик кивал и грустил.

«Хиппи, панки и сатанисты, – объяснял Гак, – тоже, как я, ищут смысл жизни...»

Он посмотрел на грустного подопечного и уточнил:

«Как я и ты. Только ты еще мал».

Додик вздохнул.

«Ладно, так и быть, с одним тебя познакомлю. Хиппи Джон, понял?»

Они помолчали.

«Пронзи-ительный человек...»

Хиппи Джон по случаю прихода весны как раз вышел из «дурки», где он имел обыкновение проводить холодную зиму.

«Ему все колют, что могут, а не действует! – пояснял Гак, когда они с Додиком пробирались через мрачную свалку к жилищу пронзительного Джона. – И этот, как его, сульфамето... короче, сульфамето ему колют! Лоботомии хотели делать, ну, череп вскрывать, но тут уж мать его отстояла. Она ударница.»

Додик слушал, стараясь быть повнимательней – все-таки первый по-настоящему духовный знакомый. Гака он почитал не только как репродуктора, но и как своего рода проводника. В учителя его шалый огромный дружок все-таки не годился. Гак исполнял свою первую проводническую миссию очень чутко: пару раз перетащил худосочного Додика через опасные ямы с осклизлыми бортами и дном, утыканным арматурой.

«У него вся жизнь – сплошной поиск! – продолжал он говорить с подопечным под мышкой. – Читает, все проверяет, ищет, думает, медитирует...»

Додик услышал незнакомое слово, но постеснялся спросить. Вместо этого он задумчиво и гнусаво сказал:

«Странно все-таки... Как же его тут не трогают?»

«Кто ж его тронет?»

«Маньяки. Бандиты».

Гак расхохотался.

Хиппи Джон варил что-то в прокопченной банке из-под тушенки. На появление Додика он только скептически хмыкнул.

«Ну, раз такая маза», – сказал он загадочно.

Потом понюхал содержимое банки и решительно опрокинул ее в костерок.

«Что, пипл, похиляли?»

У Джона были большие усы и утомленное жизнью, вытянутое лицо. От него густо и в самом деле пронзительно несло рыбой, и чем-то еще, что напоминало Додику длинные мерзкие сопли из известного анекдота о «перекусывании». Джон пососал большой палец, поскреб где-то за пазухой и враскачку побрел к выходу из жилища. В жилище, кстати говоря, не имелось ни мебели, ни дверей, ни окон – сплошные проемы. С продавленного потолка свисала какая-то ветошь, а на помосте из кирпичей и черных от старости досок лежали матрац и гитара.

Гак огорчился. Видимо, он хотел сначала побеседовать задушевно о поиске и о смысле. Маленький Додик вздохнул, жалея, что им снова придется идти через свалку. Однако выяснилось, что от развалин домушки, где проживал его потенциальный наставник, ведет аккуратная дорожка через полянку на большую дорогу.

Пока они шли по дорожке, Джон что-то неторопливо внушал Гаку, временами пускаясь в дерганный пляс, и хлопал кулаком себя по заду, коленкам и даже по каблукам.

«А куда мы идем?» – тихонько спросил Додик у Гака, когда Джон, сказав ему все, что хотел, стал с отстраненным видом глядеть на дорогу.

«Не знаю, – также шепотом отвечал „проводник“. – На тусовку какую-нибудь».

У Додика внутри все защемило.

Джон что-то хмыкнул и радостно улюлюкнул.

«Знаешь, как он спасается от мильтонов? – сказал Гак, согнувшись чуть ли не пополам к самому уху Додика. – Он просто ныряет в мусорный бак, и они его и не трогают».

«Почему?»

«А запахло. Грязно ведь. Он все баки в Москве знает».

Большая дорога привела их к метро. Додик, совершенно не представлявший, куда это их занесло, лишь удивился, зачем Гаку потребовалось вести его через гнусный пустырь, а до этого везти на троллейбусе, если метро, правда, другое, так рядом.

Все люди, попадавшие по пути, презрительно, брезгливо или сурово кривились, глядя на Джона. Гак из солидарности пошел чуть ли не бок о бок с хиппом, подтащив за собой и Додика, который поморщился, уловив снова запах и сопель и рыбы. Джон все молчал.

У метро прохаживались три милиционера. Завидев их тройку, они осклабились, но не презрительно, а радостно и победительно.

«Не напрягайся», – прошипел Додику Гак.

Хиппи поприветствовал представителей правопорядка громким хохотом свободного человека. Лица у тех закаменели и они зашагали навстречу.

«Смотри, что сейчас будет, – зашептал Гак. – Смотри!»

Джон что-то пробормотал на непонятном, рыкающем языке, зачерпнул рукой грязи и лениво швырнул ее в сторону приближающихся милиционеров. Те разом взвыли и бросились на него. Но Джон, улюлюкая, ускользнул и метнулся к домам.

«За ним!» – крикнул Гак, и что-то подобное прорычали друг другу милиционеры.

Впереди несясь Джон, распахнув свою телогрейку, расставив в стороны руки и иногда издевательски останавливаясь и поджидая преследователей. Те бежали сосредоточенно. Гак,

волоча Додика за руку, пер чуть в стороне. Один из милиционеров поглядывал на них удивленно.

Наконец, Джон остановился, станцевал и обратился к погоне с оскорбительной речью.

«Менты! – кричал он. – Ментяры! Я вас кохаю! Всю жизнь напролет... Ай вона лав бай ю!»

Все шестеро столпились у подъезда кирпичного старого дома. Не успел Додик отдышаться, как последовала драматическая развязка. Милиционеры минуты две постояли, зверою и подзуживая друг друга комментариями на джонову речь, а потом разом, прыжком, оказались с ним рядом и схватили за телогрейку. Джон молниеносно вывернулся, и, оставив одежду у них в руках, метнулся к подъезду, пробежал под самыми окнами и вновь выскочил на дорогу у другого подъезда. Мильтоны помчались за ним. Гак почтительно подобрал всеми брошенную телогрейку и проорал:

«Давай, Джон, давай!»

«Не отставай!» – прозвучало в ответ.

Тут, наконец, и преследователи сообразили, что нелепая парочка из дылды и сопливого еврейского мальчика неспроста все время ошивается неподалеку. Они к тому времени загнали хиппи в угол двора. Приближение Гака и Додика вызвало у них приступ радости:

«Ученичков завел! Новая смена!»

То, что даже милиционеры признали в нем ученика пронзительного духовного человека, наполнило сердце Додика признательностью и страхом.

Джон вновь принялся оскорблять и приплясывать. Милиционеры ласково жмурились: бежать ему было некуда. Если не считать мусорного бака.

Затаив дыхание, Додик смотрел и учился. В тот самый момент, когда ярость милиционеров заставила их рвануться в самом праведном гневе к нему, с воздетыми к небу черными палками, Джон перемахнул через край бака и чем-то там зашуршал. Наружу полетели тряпки, ящики и листы гнилой, черноватой капусты. Потом кошка. Потом над краем возникло довольное и чумазое лицо. На ухе красовалась плюха какого-то отвратительного, зеленоватого мусора явно органического происхождения.

«Берите меня! – отчетливо завопил Джон. – Берите!»

Он еще сильнее взворошил содержимое бака. Даже до Додика с Гаком, стоявших метрах в десяти, дошла гнусная вонь. Милиционеры затоптались вокруг. Джон кинул в одного желтым ошметком.

«Ну, идите, обнимемся! – крикнул он и тут озаботился. – Вы что там стоите? – позвал он Гака. – Быстрее!»

И только тогда Додик понял, что сейчас будет.

«Возьмем, что ли, этих?» – спросил у товарищей один из мильтонов.

И вот, крепко обхватив Гака с обеих сторон, а Додика просто за шиворот, их повлекли в отделение. Грустный Джон, наполовину высунувшись из своего бака, что-то громко канючил на неизвестном никому языке.

Впрочем, в отделении им ничего страшного не сделали. Дылда Гак, пытавшийся по дороге рассказать о каких-то правах, получил пару тычков, а Додика, оробевшего до того, что задрожали коленки, третий мильтон, пожилой и сочувственный, чуть ли не донес на руках.

За Додиком приехала мама Галя, она же уговорила отпустить угрюмого Гака, который все норовил истребовать какую-то компенсацию.

Больше Додик Джона не видел.

Зато, словно бы убедившись в его желании что-то постичь, Гак принялся знакомить его со всеми, кто в его понимании, мог помочь. Всё это были люди немножко странные,

немножко смешные, но глубоко занятые своими, тяжелыми и утомительными разборками с окружающим миром. Сказать ничего важного они не могли.

Наконец, на горизонте объявились какие-то сатанисты.

Они объявились и тут же приблизились:

«Мы едем к Гуне в Подольск! – сказал Гак. – Гуня – сатанист-дуалист. Сегодня у них посвящение».

Гуня жил в странной квартире. Там не было ни дивана, ни стульев, ни даже стола. Стены, пол и потолок были выкрашены в черный цвет. В одном углу был выписан красный круг с белой свастикой, в другом – некий загадочный, сложный знак, напоминающий узоры калейдоскопа. По черному полу тревожно бегал черный петух. Хозяин, впусив Гака и Додика, блеснул на них весело глазами, схватил петуха, отнес в угол под знаком и мелом замкнул его в круге. В середине комнаты, так же мелом, были обведены контуры человека, как это делают при убийствах.

Петух закудаhtал. Додик вздрогнул.

Гуня был взросл, лет сорока, и сдержанно гостеприимен.

«А, нашего жидовского полку прибыло!» – сказал он, приветствуя Додика.

«Гуня...» – укоризненно начал Гак.

«А, что, я тоже еврей! На восьмую... Или шестнадцатую, – удивился тот и протянул Додику большую, мягкую лапу. – Гюнтер. Максим Максимович», – указал он на петуха.

«Ты же фашист», – удивился Гак, непринужденно усаживаясь на пол.

«Не-е-ет, – протянул Гуня. – Я сатанист. Я манихей! Адольф Гитлер тоже был сатанист-манихей, и за это я его уважаю».

Гак покачал головой в видимом восхищении. Додик переминался у двери, не решаясь ни сесть, ни встать к страшной черной стене.

«Это – ненужные сложности, – сказал Гуня, по-прежнему улыбаясь. – Да, Гитлер убивал наших евреев, но все – по указу. Не будет же обсуждать Его указы!» – он посмотрел в пол.

«Не будем, – согласился Гак, и все же не выдержал, – может, по-твоему, Гитлер тоже был еврей?»

Тут Гуня разволновался. Он забегал, как петух до того, как его посадили в угол, он стал скалиться на Гака, пошел в ванную, вернулся в черном длинном плаще и стал что-то бормотать. Додик глядел зачарованно.

«Что же ты, что же ты... – бормотал Гуня. Потом замер, видимо, решив взять себя в руки. И затараторил: – Главное – не волноваться... Главное – не волноваться! С чего это мне волноваться? Вот еще не хватало – мне – волноваться! Главное – не волноваться».

После этого он произнес таинственное заклинание, пробежал в угол комнаты, поцеловал знак, подхватил на руки петуха, и, бросив: «Пошли! Нам пора!», пошел к главной двери. Петух молчал.

Через полчаса они пришли в мрачный лес. К тому времени Максим Максимович не на шутку опечалился. Гуня, стыдясь своих чувств, увещевал старого друга сдержанно и по-мужски.

«Такая твоя судьба», – говорил он петуху.

Тот горестно кряхтел из-под мышки.

«Большая честь, – уверял Гуня, – там, знаешь, сколько разных других петухов было, я тебя отстоял...»

«Что это?» – удивился Додик.

«Ритуал какой-то значительный, – прошептал ему Гак. – Видишь, он своим Максимычем даже пожертвовал. А они два года вместе живут».

«Что значит: значительный?»

Они шли без тропы, как Гак объяснил до этого – специально. Шли на место сбора всех ведущих сатанистов, дьяволистов и манихеев Московской области.

«Ну, бошку Максимычу точно отрубят», – неуверенно сказал Додику «проводник».

Гуня, словно услышав их шепот, опять забормотал, большими кругами бегая меж деревьев, то улетаая далеко вперед, то перемещаясь им в тыл. Когда их траектории пересекались, до удивленных новеньких доносилось:

«Главное... И с чего бы мне... Не волноваться! ...Максимыч...»

Так он и бегал, взметая осенние листья, пока Додик не замерз. Они с Гаком в какой-то момент остановились и сели на два пенька рядом с друг с другом, ожидая, когда же нервный сатанист утомится. Потом Додик сказал:

«Я замерз. Когда мы придем?»

Гуня взял себя в руки. Ассамблея оказалась поблизости – в укромной чаще. Мрачные люди в черных дождевиках с капюшонами переминались вокруг какой-то зловеще рыжей колоды. Часть чащи очистили от кустов и развели костер. На огне жарили хлеб два сатаниста и три сатанистки – все, как на подбор, рыжие. Гуня проследовал к главным фигурам у колоды, а Гак с Додиком подсели греться к костру.

«Скоро начнем, – таинственно возвестила им одна рыжая сатанистка. – Где ваши мантии?»

«У нас нет», – откровенно признался Гак.

«Новенькие, – определила она. – А я Даша. Я – ведьма». – При этом она зачем-то подняла ладонями свои крупные груди и угрожающе ими тряхнула.

Додик опасливо покосился на нее.

Гак повел себя более решительно:

«Даш, а чего празднуем?»

Она изумилась.

«Ну, в смысле, какой ритуал, что за день?»

Она скроила физиономию.

«Посвящение?» – настаивал Гак.

Она разразилась ведьмовским хохотом. Груды сами, без помощи рук, издевательски заколыхались. Гак обиделся.

Все остальные были в мантиях. Гуня – в своем черном плаще. Он и начал таинственную церемонию. Сперва он проорал в черное небо какие-то рокошующие слова.

«Между прочим, это иврит, – прошептал Додику Гак. – Ну, еврейский язык».

Звучал еврейский язык довольно дурацки, и Додику стало грустно.

Потом Гуня сказал:

«У нас сегодня... – тут он прервался, чтобы сморкнуться. – сегодня... день. Не волноваться!» – строго сказал он в небеса и умолк.

Инициативу перехватила грудастая рыжая Даша.

«У-у-у!» – сказала она и начала ритмично раскачиваться. Остальные тоже закачались, но только без «у».

«Крови!» – вдруг взвизгнул кто-то неопознаваемый из них, то ли мужчина, а то ли женщина.

«Черной крови!» – подтвердил кто-то другой, гораздо мужественней.

«Астарот, Вельзевул, Бафомет...» – скорбно забормотал сатанист Гуня.

Даша схватила из костра пылающую ветку и зачертила ей в воздухе сначала круг, потом треугольник, а потом какие-то неопределимые фигуры. Гуня тоскливо сплюнул на землю. Тут все и замерли. Даша отбросила ветку, хлебнула чего-то из черной пластмассовой фляжки и стала поочередно оглядывать всех стоящих мрачным взглядом. Гуня затопал ногами. Даша

уперлась взглядом в Додика, извлекла из складок плаща огромный кухонный нож и вручила ему.

«Ты».

Додик не шелохнулся.

«Ты!»

«Чего это я?» – спросил он с подозрением.

Гуня сказал еще что-то рокошующее небесам, словно бы сомневаясь. И вдруг они ответили дальним громом!

Даша откинула капюшон и с угрожающим видом шагнула к Додику.

«Режь! – закричала она. – Чер-ной крови!»

Додик перепугался. Кто-то неопознаваемый подхватил Максимыча и стал устраивать его на колоде. Петух молча отбивался.

«Зачем же мне резать этого петуха?» – рассудительно спросил Додик-Цыпленок.

Даша страшно зарычала. Обладатель мужественного голоса плеснул чего-то в огонь, отчего тот взвился вверх ярко-зеленым. Гак подскочил к Додику, схватил из рук ведьмы нож и решительно пошел к колоде. Его перехватили и оттащили.

«Он!» – проревела ведьма, указывая на Додика. У него задрожали колени. Гак отдал нож одному из нападавших.

Петух вырвался и, клокоча, пропал в кустах. Гуня бросился вслед. Даша всунула нож в окаменевшую горсть Додика. Все замолчали и застыли. Неожиданно из темноты донесся горестный, предсмертный вопль Максимыча, и вскоре появился Гуня. Петух свисал головой вниз у него с дрожащих рук.

Гуня что-то объяснил вверх. Грома не последовало.

«Опять не удалось», – презрительно объявила Даша, будничным жестом отобрала у Додика нож и отсекла мертвому Максимычу голову. Додика вырвало. Гуня заплакал, и Гак увел их обоих домой.

Больше к сатанистам Цыпленка никто не водил. Но, не прошло и недели, как Гак пристрастился к «экстрасенсорным наукам». Он принес к Додику несколько паспортных фотографий разных людей. Все карточки были с разными дефектами – как он объяснил, иначе бы их ему не отдали.

«Сейчас я положу их мордами вниз, – сообщил он торжественно. – А потом ты увидишь».

Он положил. Закрыв глаза и стал водить над фотографиями дрожащей, огромной ладонью. Пару раз облизал языком пересохшие губы. Додик с интересом наблюдал.

«Значит, так, – объявил Гак минут через двадцать, и ткнул пальцем в „спинку“ одной фотографии. – С этим фруктом контакт лучше всего. Я скажу, а потом мы вместе увидим. Это мужик, лет сорока, холостой и больной. А-па!»

С фотографии на них глядел действительно, скорбный толстошей мужчина. Гак победительно покосился на Додика.

«А я так смогу?»

«Тут, перво дело – контакт. Слушай, что они говорят... Тренируйся!» – и Гак пошел на кухню курить. Там он вступил в какой-то длительный спор с бабушкой Серафимой, а Додик остался колдовать над фотографиями.

Ничего у него не получалось. С самого начала фотографические персонажи упрямо отказались входить с ним в контакт. Он не просто водил рукой над карточками; отчаявшись, он переворачивал их, и, зажмурив глаза, терпеливо тискал гладкий картон. Он даже клал их на вспухшие от тоски веки. Ни толстощекий мужчина, ни две девчонки с косичками (обе моргнули, отчего, верно, фотографии и забраковали), ни развеселый бугай, через

морду которого прошел, будто шрам, толстый волос, налипший на пленке, не даже седой старичок с сочувственным взглядом (у него по щеке расплылось желтое пятно проявителя) ничего о себе не сообщали. Они упрямо молчали. Одна только тетка в очках и нелепом бурнуса вроде бы, на секунду, оттаяла и что-то просигнализовала несчастному Додику. Но он с перепугу перепутал ее с бугаем.

Гак вернулся и сходу расколол старичка. Потом он хихикнул и предложил Додику тренировку попроще: определить, какого пола лицо уткнулось в лакированную доску стола. Он очень путано объяснил, что сигналы будут четко разниться. Однако сам дважды ошибся. А, разозлившись, предложил бросить эту белиберду. Вспотевший от усилий Давид с ним легко согласился.

Гак удалился. В дальнейшем его эзотерические достижения стали чередоваться с загадочными романами. О своих девушках он повествовал Додику достаточно скупое. Все больше напирал на их многочисленность и неадекватность поведения.

«Леля такая... – рассказывал он. – Юмористка. Лежим, значит, и я заснул. Вдруг ночью, в темноте, она как раз! Мне тапком по морде... Я ей: чего? А она: извините, не знаете, как проехать к гостинице Россия? Оказалась лунатичка... Будущий математик».

Но он приходил еще много раз, учил Додика со внушением водить рукой по стене, упираться взглядом в спичечный коробок, гипнотизировать муравьев, тараканов и божьих коровок. В конце концов, это надоело обоим. Додик смущенно подозревал, что все это – как-то не то. «Репродуктор» сопел и изыскивал новые тропы.

«Слушай, – сказал он однажды, решительно закурив сигарету, вытащенную у родителя из пальто. – Слушай».

Додик приготовился слушать, на всякий случай подсев поближе к раковине – они совещались на кухне, пока старшие Гаковы «занимались копеечкой».

«Помнишь, как мы ездили к Гуне? И как Максим Максимыча...? Опыт, да?»

Додик поежился, но ничего не сказал. Гак заявил:

«Все эти курочки и петушки – чепуха. Нам надо увидеть, как у людей».

Додик испугался.

«Есть у меня один санитар, – продолжал разглагольствовать Гаков. – Он обещал взять нас с собой, когда жмурик наклонится».

Додик уныло кивнул.

«Только условие: когда копытиться будет, чур не визжать!»

Додик снова кивнул и оставил голову склоненной к плечу. Предприятие ему не очень-то нравилось.

Санитар прорезался скоро. Он был чьим-то братом. За ними заехала «Скорая помощь», и под удивленными взглядами дворовых старух они в нее погрузились. Санитар был очень мрачен. Судя по Гакову, он считал, что и Додик окажется представительным.

«Куда я вас дену на станции? – орал он возмущенно. – Ну, мой сегодня в загуле, а другие врачи?»

Гаков пожимал плечами. Додик грустил.

Но сидеть на станции им не пришлось. Откуда-то позвонили, санитар ворвался в подсобку, где они хоронились, стремительный как ураган, и сияющий, как начищенный апельсин.

«Есть один! Верный случай!»

По дороге – шофер неодобрительно косился на двух малолеток в белых халатах – он рассказал, что они едут «по сердцу». Пациент очень старый.

«Так что взвешивайте на здоровье душу, – закончил он радостно. – На здоровье!»

У Додика клацали зубы. Он и не знал, что они едут взвешивать душу. Гаков распрямил свои плечи, задев при этом какое-то оборудование в машине, как будто он готовился поднимать большую тяжесть.

Им открыла сухонькая старушка с заплаканными глазами.

«Практикант и санитар, – бросил ей чей-то брат, указав на Гакова с Додиком. – Я – врач. Где больной?»

Они протиснулись в огромную комнату, стены которой покрывали уютные, мохнатые ковры. На большой железной кровати лежал пожилой одутловатый мужчина в очках и с зеленоватым лицом.

«Профессору стало лучше», – мягко сказала старушка, моргнула и пошла готовить чай.

«Ну-ну, сейчас проверим».

Пока санитар раскладывал на стуле свой чемоданчик, Додик с Гаковым, не отрываясь, глядели в лицо профессора. Проходя мимо них в ванную мыть руки, санитар встревожено пихнул Додика локтем – наверное, боялся, что он завизжит. Они остались одни с пациентом.

Старичок лежал на высокой подушке и жалко кривился, силясь хоть чуть-чуть улыбнуться.

«Да-а-а», – сказал Гаков потерянно. Он побледнел и отвел глаза от старичка. Додик смотрел, склонив голову на бок и часто мигая.

«Какой молоденький...», – сочувственно произнесла старушка, возникнув рядом с ними, и покачала головой.

Додику на глаза стали наворачиваться слезы. Санитар в ванной гремел мыльницей и напевал что-то веселое.

«Может, пойдем?» – прошептал Гаков.

Старичок уловил их испуганные взгляды и попытался еще улыбнуться. Тут Додик не выдержал. Он, мелко перебирая заплетающимися ногами, подбежал к кровати, плюхнулся на колени, и, схватив старичка за руку, вытянул шею.

«Совсем маль-чик», – выдавил тот.

«Вы не умрете? Вы будете жить? – затряс его Додик за руку, – будете? Скажите!»

Слезы текли настоящим ручьем.

Профессор посмотрел на него, явно стесняясь, что может умереть на глазах у такого юного существа. Он попытался взбодрить этого странного практиканта, залихватски кивнул и произнес:

«Буду... жить».

Тут Гаков захлюпал, издал странный стон и бросился вон из квартиры. Додик, погладив напоследок руку профессора и извинительно покивав, побежал вслед за ним. По дороге он наткнулся на санитаря.

Больше они такими делами решили не заниматься. Тем более что санитар-чей-то-брат устроил Гакову страшный разнос. Но сказал, что профессор не умер.

Глава 3. Свет не вечерний

Гак недолго оставался в бездействии. В переходе метро он встретил баптиста с бархатным голосом и в бейсболке, получил Библию и был потрясен открывающимися перспективами обращения в веру. Додику он объяснил, что неожиданно ощутил весь дремучий и тягостный грех своей предшествующей жизни. Потом он усомнился в баптистской Библии, такой глянцевой, тонкой и откровенно американской. Гак нашел надежный православный храм, и пошел выяснять, а можно ли это читать.

Однако грустный батюшка в храме про баптистов ничего не сказал, а покачал головой и промолвил:

«Пора вам воцерковиться...»

Так Гак и вступил на путь христианства. Первые дни он вел с пути подробные репортажи для Додика. Рассказал, как сначала побыл оглашенным, а потом неспешно и правильно катехизировался. И, наконец, был крещен.

Началась у него таинственная жизнь духа. Параллельно у него развивалась другая – он устроился на денежную работу, все-таки грузчиком, но уже на вокзале. Он решительно переименовал Додика в «Дава», по имени заграничного шоколада. И неожиданно стал сильно пить.

«Это искус такой, – объяснял он севшим голосом Додику в теперь редкие встречи. – Не согрешишь, не покаешься. Скоро сам поймешь».

Додик не понимал и водил носом из стороны в сторону, ощущая гаковский «искус» по запаху.

Прошла зима и даже май, а Гак все не торопился делиться с ним теми истинами, что почерпнул. Додик закончил восьмой класс, и по настоянию всей семьи, решил продолжить образование. Гак к этой идее отнесся скептически.

«Ладно, – сказал он. – Еще два года ты настоящей жизни не понюхаешь. Всей ее скорби. Но просветить тебя я все-таки просвещу».

Он привел Додика к себе домой. Никого там больше не было, только гакова бабушка, которая время от времени появлялась в дверях, как пухлый призрак в белом халате с цветочками. Она охала и тревожно, как выпь на болоте, спрашивала:

«Внучек, а я чайник ставила или не ставила?»

Гак сурово молчал.

«Спасибо, внучек», – говорила старушка, чем-то утешенная, и уходила, чтобы придти через десять минут с тем же вопросом.

Гак усадил Додика за верстак, налил ему чаю, а перед собой выставил бутылку водки. Миска горчичных сушек была у них на двоих. Вначале они сосредоточенно пили, каждый свое. Додик боялся даже лишний раз брякнуть ложечкой, чтобы не спугнуть момент гакова откровения.

«Вот, гляди, Дав, – указал, наконец, Гак на дальний угол своей комнаты. – Это красный угол. Там, видишь, иконы».

Додик почтительно обзрел. Иконы были красивые.

«Внутренний свет», – возвестил отчетливо Гаков и умолк, пристально вглядываясь в подопечного.

Додик старательно показал, что намерен прилежно впитывать мудрость: он сложил по-школьному руки и склонил голову вправо. Тогда Гак шевельнул широким плечом и стал излагать внушительным голосом.

Были упомянуты греческие исихасты с их христовой молитвой, Андрей Рублев, Серафим Саровский, и особенно – благодатные оптинские старцы. Гак постепенно покрывал вер-

стак тоненькими брошюрками на буровой бумаге, пропахшей чем-то томительно-сладким. Додик узнал про египетских пустынных и молчаливых, выслушал долгий отрывок из «Луга Духовного». И при этом он с радостью отмечал, что никаких обычных позывов не испытывает. Желудок благодушно переваривал сушки. Глаза не выпучивались. Икота не била и даже кадык не играл. А уж как ему было все интересно! И главное, Гак периодически толковал о внутреннем восхождении к свету. Тут-то Додик и возмнил, что, наконец-то, встретил что-то глубокое, важное и ему предначертанное. То самое, о чем неясно грезилось со времен фотоподвала и зеркала.

А потом почему-то Гак стал настаивать на том, чтобы Додик с ним выпил.

«Иначе, – утверждал он, – ничего не воспримешь».

Додик уныло пригубил отвратительной водки. Все существо его содрогнулось, дыханье перехватило, горло ожгло, и глаза заслезились. Он кашлянул, а Гак крепко шлепнул его по спине.

Сам проводник после третьего стакана, выпитого целиком, завел речь о страшном.

«Каждый должен выбрать, с кем он, с Богом или с... – он перекрестился, – с врагом. Бесы!»

Он воздел кверху палец:

«Бесы всегда на страже, понял! Подстерегают... А ты у нас даже не крещенный... Хотя бы свою, еврейскую веру принял – какая-никакая защита».

Додик боялся и слушал. Сущность христианской религии от него начала ускользать, но говорил Гак все внушительней и внушительней.

«Подстерегают, – гнул он. – Вся жизнь – это прение. Главное – не оступиться».

Это напомнило Додику Гуню-сатаниста с его «главное – не волноваться», но, стыдливо глотнув еще водки из стакана, он неожиданно расслабился. На этот раз его только ожгло, но уже не протрясло.

Под конец посиделок Гак слез с темы бесов и опять заговорил о чем-то внутреннем, но Додик уже перестал понимать. Глаза его закрылись сами с собой.

«Ты смежил веки! – объявил торжественно Гак. – На тебя нисходит покой...»

Додик с большим трудом приоткрыл чуть глаза, и увидел, как его друг достал из-за ворота крестик, поцеловал его и прослезился. От этого зрелища Додик окончательно окосел и «веки смежились» накрепко.

Тогда Гак бережно перенес его на матрац, постеленный на полу, укрыл одеяльцем, а сам рухнул на диван у стены и вскоре заснул.

Но Додику не спалось, хоть глаза и были закрыты. Выпитое совершало свои эволюции у него в животе. Оно кружило и кружило, образуя немалый водковорот. Додику то становилось невыносимо тоскливо и дурно, то он погружался в недолгое, и вовсе не плодотворное забвение. Наконец, водковорот так основательно все перемешал, что Додик понял: ему нужно в ванную. Однако в комнате прямо напротив спала призрачная бабушка Гака, и Додику было стыдно ее будить. И еще ему было неловко, словно он потерял невинность – в первый раз ему хотелось тошнить не по каким-то таинственным причинам остро духовного содержания, а от пошлой, широкорастространенной водки. В тоске и печали он начал плакать, а потом заметил нечто в темном углу комнаты и задрожал. Нечто было похоже на рисунок светящимися зелеными чернилами: голова бородатого человека. Нарисованный светящийся рот издевательски ухмылялся.

«Бес!» – как-то сразу понял все Додик и сделал попытку приподняться. До какой-то степени это удалось, но даже сесть он не смог: страшная сила вжимала его обратно в матрац. Уже и позыв в ванную сам собой отступил. Додик понял, что хотя он и не крещенный, и даже не в своей еврейской вере, но в таинственную войну высших сил его уже как-то включили. Или это нападение на Гака, а тот тихо спит?

Додик захотел предупредить друга, но тут светящийся рисунок приблизился к нему. Стало так страшно, что думанье само собой прекратилось. Даже очередной цикл водки в желудке не смог его отвлечь: он закрыл глаза и в ужасе стал ожидать, что же будет. Потом чуть приоткрыл веки: зеленое-бородатое маячило снова там, где появилось, в углу. Тогда Додик вспомнил: есть другой, «красный угол»! Защита!

С большим трудом он перевернулся на живот – тот угрожающе забурчал – и обратил взгляд туда, где как он знал, висела полочка с образами на полотенце. И каков же был его ужас, когда знакомая зеленая физиономия обнаружилась там! Она фосфоресцировала так ярко, что можно было разглядеть все детали икон. Додик обречено подумал, что, скорее всего, он пропал уже бесповоротно, но побороться все-таки стоит. И самым действенным способом этой борьбы, как ему представлялось, было бы пробудить мощного Гака. «Проводник-репродуктор» должен был как-нибудь решительно помолиться или хотя бы выдать ему крест для защиты.

Однако сил уже не было. Зеленая физиономия издевательски расплывалась. Гак довольно храпел на диване. Часики тикали. Где-то далеко, в районе спасительной ванной с лампочкой яркого-яркого света, ворочалась старая бабушка. Пахло столярным и костным клеем и водкой...

Утром Додика разбудил удивительно свежий Гак.

«Вставай! – вопил он разухабистым голосом, – холодный душ и пробежка!»

«Гак, – сказал жалобно Додик, боясь потревожить свое внутреннее содержимое. – Гак, ночью я видел зеленого беса. Это была голова в том углу...»

Гак жадно выслушал, не перебивая. Додик все рассказал и прибавил:

«А ты все спал и спал, а сам говорил, что все время настороже и сражаешься с ними... Я хотел у тебя крестик спросить, а ты спал...»

Тогда Гак нравоучительно произнес:

«Э, Дав, тут крестик ничему не поможет! Крестик – не от него, понял? Крестик это так, для тебя!»

Опять Додик ничего не понял, кроме банального: пить водку больше не стоит. Но некая томительная тяга к православию у него все же осталась.

Когда наступили летние каникулы, Гак торжественно уволился из грузчиков и пригласил Додика к себе, опять не на дачу, а в квартиру. На этот раз не было ни только родителей, но и бабушки, однако, присутствовал некий румяный, лысый, крепенький человек лет двадцати пяти по имени Памфил. У него был лоб молодого бычка и розовые девичьи уши. На весь окружающий мир он глядел обвинительно и беспристрастно.

«Мы едем искать отца Савватия, – объявил Гак. – Хочешь с нами?»

Додик закивал. Ему было интересно.

Человек Памфил оказался художником. Он грустно сказал:

«Есть мнение, что в связи с общим заговнением жизни и искусство должно повернуться хрен знает куда. Это в корне неверно!»

Он сурово пожал Додику руку.

«Когда смысл картины есть тебя огорчить, расчленишь и обидеть, измарать все самое светлое... – продолжил он с еще большим подъемом, – это совсем не искусство, а искус и жопа! Живописи мы противопоставим иконопись! Вместо заговнения жизни мы будем писать светлые образы!»

Дальше обнаружилось следующее. Овладев за несколько лет техникой писания светлых образов, Памфил столкнулся с озадачивающим противодействием некоего батюшки.

Вначале батюшка благословил. Потом стал ворчать о каноне. И, наконец, разозлил Памфила совершенно, обозвав реформатором, мазилкой и чуть ли не обновленцем.

Тут Памфилу и подвернулся под руку ретивый Гак, и вместе они быстро выяснили, что где-то в северных лесах, неподалеку от одного известного монастыря живет полу-отшельником иконописец Савватий. Про него говорят очень многое, но важно, что святость его несомненна, и что он тоже пишет иконы, и как-то так, что не все священники и епископы его одобряют.

Додику все это очень понравилось. Он загорелся желанием повидать настоящего святого. Он даже немного заскулил от восторга, на что «почти обновленец» Памфил скривил рот.

«Ничего, ничего, – поспешил его успокоить Гак. – Мы с Давидом с детства знакомы. Не подведет».

Это «знакомы», и особенно «Давид» немного кольнуло Додика, но он решил, что православным людям так полагается разговаривать: торжественно и без особенных нежностей. А в том, что Памфил настоящий православный, он не сомневался.

Они доехали на поезде до города, оттуда на автобусе – до монастыря. Додику ужасно хотелось пожить в палатке и чего-нибудь съесть из кастрюли, переделанной мамой Галей в котелок. Однако деловитый Гак, переговорив со степенным пузатым монахом, выяснил, что за рубку поленницы дров им запросто предоставят на троих свободную келью. Пока Гак с Памфилом ухали с топором над дровами, Додик понуро шлялся по огромному огороду, пугаясь бородатых мужчин в длинных одеждах, которые неожиданно выскакивали из-за грядок. За колку дров им, кроме кельи, еще досталась кастрюля грешневой каши, миска кислой капусты и полбуханки свежепеченного хлеба. Запах всего этого, уютно распределившись по келье, так и не ушел за целую ночь.

«Хорошая жизнь, здоровая жизнь, – начал рассуждать художник Памфил, когда все уложились по лавкам, в синтепоновые, свежкупленные спальники. – Монастырская жизнь самая полезная для христианского организма. Вот только прение велико. И соблазны», – он заохал.

Гак позевал и сообщил, что степенный пузатый монах знает отца Савватия, и объяснил, что найти его очень просто.

«Потому что и люди здесь все простые, и каждый всех знает! – обрадовался Памфил продолжению темы. – Не то, что в миру...»

Он немного подумал и сообщил лично Додику:

«Вот еврею в монастыре все до фени. Никакого спасения».

Гак в темноте угрожающе засопел. Непонятно, что он думал о евреях вообще, но давать в обиду Цыпленка не собирался.

«Особенно тем, которые дров не кололи. Всегда так», – развивал тему Памфил.

Он неожиданно осерчал.

«Не, я понимаю, что он твой друг. Но, ты, Гаков, нянчишься... Вот мы все евреев баюкаем... Еще песенку ему спой... Все мы нянчимся! А страна... Страна в жопе!»

Памфил так разволновался, что вылез из спальника, и стал чиркать спичками. Гак угрюмо слушал. Памфил зажег свечку и продолжил свои разглагольствования.

«Все угасает... Самолеты вон падают каждый день... Кладбища разоряют... Утечка мозгов... Твои, между прочим, Давид, и текут...»

Памфил показал руками, как падают самолеты, и – волнообразными движениями – как утекают мозги.

Додик покивал, не понимая толком, какая связь между самолетами и мозгами, и куда же последние могут течь.

Памфил же, словно желая отвлечься от скорбных мыслей, и немного проветриться, подошел к узкому окошку, и открыл форточку.

«Во! – крикнул он слегка приглушенно. – Смотри, это не бес?»

Додик вздрогнул. Гак, обрадовавшись смене тяжелой еврейской темы, тоже соскочил на пол. Они стали вглядываться в темноту и рассуждать на пару.

«Ну, как-то дико неприятно смотреть... – объяснял Памфил. – Слушай, шевелится. Надо молитву, что ли, прочесть».

Видимо, от волнения, молитва у него не пошла. Додик тоже подошел к окошку, протиснулся под локтем Гака, и они стали смотреть все втроем. На полпути к огороду маячило нечто белое, отдаленно похожее на человека. Но на какого-то пушистого, безголового, и страшного.

Гак все же сумел внятным голосом прочесть «Отче наш». Памфил подпевал. Белая фигура не исчезала.

«Как же здесь может быть бес? – осмелился уточнить Додик. – В монастыре?»

«Э-э-э, – тоскливо протянул Гак. – Вокруг монастыря всегда нечистая сила копится, это известно».

«От зависти», – подтвердил Памфил, который, вероятно, в виду общей беды, слегка помягчел по отношению к евреям вообще или к Додику в частности.

В окно он уже не смотрел, а сел обратно на свою лавку, нюхнул воздух и задумчиво предположил:

«Может, нам чудится, может, капуста перебродила?»

«Может, это монах... ну, погулять вышел?» – в ответ высказался Гак.

«Такой мохнатый?»

Они еще так порассуждали минут двадцать. Додик, убедившись, что загадочная фигура, если и шевелится, то только чуть-чуть, и, на первый взгляд, к ним никакого интереса не проявляет, успокоился, и тоже вернулся на лавку. Он еще немного послушал спор, а потом плавно уснул, словно всю жизнь только и делал, что ночевал в монастырских кельях.

Наутро выяснилась постыдная правда: мохнатый бес предстал перед всеми троими как тулуп, наброшенный на старый пень.

«Во, монастырь! Довели страну... тулупы валяются...» – завел свое Памфил, а Гак помрачнел.

Ночное происшествие настроило всех на недоверчивый лад. Боясь заплутать, Гак повел их по словам степенного монаха столь осторожно, что они как раз и сбились с пути. Настолько, что пришлось даже ночевать в лесу. Памфил опять попрекал Додика желанием въехать в рай на христианском горбу, воспевал радость труда и в результате палатку ставили вместе, но целый час. Комары, не привыкшие к такой роскоши, кусали их жадно и торопливо. Лес вздыхал, словно грезил о чем-то прекрасном и далеком.

Додик расчесал до крови обе щеки и задумался о других насекомых, как-то клещах, скорпионах и даже змеях. Спать в келье на лавке ему понравилось больше, чем в палатке на лапнике.

Наутро Гак, словно опомнившись, уверенно указал им одну малозаметную тропку. По его мнению, именно такие, заросшие, непроторенные тропинки, и должны вести в святы места. Они еще чуть побродили. Причем Додик не шел, а честно тащился, сгибаясь под рюкзаком, и совершенно забыв, что он тут делает, среди комаров и насупленных пилигри-мов. Но час спустя Гак наткнулся уже на просторную, двухколейную дорожку, проложенную прямо по траве, через лес. По дороге, определил Памфил, проехали совсем недавно.

Еще через полчаса они увидели, кто проехал. Чуть углубившись в кусты, на дорожке стоял замызганный «жигуленок», из которого раздавались неясные голоса. Мужской басовито ворковал, но в нем проскальзывали угрожающие интонации. Самым частым сло-

вом в ворковании было: «сымай». Женский был пронзительный и недовольный. «По носу, по носу!» – толковал этот голос. Потом женщина завизжала, уже совсем возмущенно.

«Ага!» – провозгласил Гак и подбежал к машине.

Его решительно не заметили. Он постучал, а потом, сурово выпятив челюсть, резко распахнул дверцу машины. Тут же наружу вывалились девушка в сарафане и в полусдернутой вязанной кофточке, а также носатый и долговязый парень, который за эту кофточку держался и продолжал ворковать. Заметив Гака, он, быстро переступая ладонями по девичьему животу, втянулся обратно в автомобиль и поднял стекла. Додик, который тоже приблизился, разглядел, как парень прижался лбом к стеклу, с выражением грусти и какой-то привычности на лице. Словно не в первый раз и, увы, не в последний, как только он преступал к куртуазному приключению посреди дикого леса, кто-то докучный являлся из чащи, и делал так, что он выпадал из машины. Нос у парня был велик, почти как у Додика, но с хохляцкой прозрачностью на хрящах.

Девушка между тем встала, оправила свою кофточку и протянула Гаку ладошку.

«Здравствуйте!» – сказала она бодро и весело.

Гак пожал руку и начал стесняться. Девушка была симпатичная. Правда, с лица ее не сходило выражение некоторой благодатной приподнятости. В ожидании грядущих чудес она все время подносила руки к лицу, то ли намереваясь восторженно помолиться, то ли удивленно обнять саму себя за плечи. У нее были белесые волосы и широкий лоб, как у Памфила.

«Приставал?» – спросил тот солидно, подбредая с видом вождя могучего племени, который выслал разведчика, уже выслушал его подробный рассказ, а теперь, на закуску, расспрашивает «языка».

Девушка неясно мотнула головой и затараторила:

«Меня отец наш послал, до автобуса, чтобы узнать, когда книжки-то привезут, так я к этому села, и говорю, денег нет, ты так подвезешь? Он, дурак, говорит, так подвезу... А книжек не привезли. Меня Поля зовут».

Потом она опустила взгляд на свои босые ноги и возмущенно воскликнула: «Так остались там туфельки! Пусть он туфельки тоже вернет!»

Памфил лениво бухнул ногой по машине. Стекло тут же съехало вниз и на землю вылетели туфельки. Потом парень высунул голову, сплюнул в траву и с вызовом оглядел всех стоящих. Гак насупился, а потом нагнулся поближе к Поле, и доверчиво сообщил:

«А мы отца Савватия ищем... Того знаменитого».

Девушка засмеялась, надела туфельки и рассказала, что до знаменитого отца Савватия совсем недалеко, она же к нему возвращается, и сейчас она их проводит.

Так они пошли уже вчетвером, и Додик снова тащился, сгибаясь под тяжестью рюкзака и снова вспоминал о комарах, укусы которых неожиданно зачесались опять, а Памфил с Гаком шли по обеим сторонам от Поли и все ей поддакивали.

Лес неожиданно кончился, и перед ними открылся большой холм, к склонам которого лепились избы и даже двухэтажные домики.

«Вот тут», – Поля указала на избу с самого края села.

Изба была самая обыкновенная, правда, окна украшали резные наличники. Вокруг росли лопухи, стояли чахлые яблони, а у крыльца окунал голову в бак с водой рыжий парень в больших сапогах. Сразу за избой виднелась деревянная церковь с высоким шатром. На середине шатра висел, держась неизвестно за что, худой мужик и что-то тесал топором.

«Сергей Александрович, – сказала Поля почтительно. – Это он отца Савватия сюда пригласил. Он гробовщик. Церковь срубил почти что один».

Памфил набычился и быстрым шагом пошел к крыльцу.

Гак уважительно посмотрел на церковь с висящим гробовщиком и подал руку Поле. Она хихикнула, пожала ее и встряхивая волосами, побежала по тропинке куда-то вглубь села.

«Вы у Григория сперва спроситесь! – крикнула она на прощанье. – Храни вас Бог! Спасибо!».

Памфил уже оторвал парня в сапогах от купания.

«Можно», – сказал тот громко и пошел в избу.

Их пригласили внутрь. Свалив рюкзаки на крыльце, они последовали за Григорием в сени, а потом в единственную, просторную комнату. Все здесь было уютное и спокойное, располагающее к долгим, вдумчивым разговорам: шкафчик, буфет, столик, длинная лавка, занавески на окнах. В маленьком креслице за столом сидел довольно пузатый старик в черной рясе и пил чай. Когда они зашли, и Памфил с Гаком перекрестились на иконы в красном углу, старик встал и поклонился.

«Чаю хотите? – спросил он. – К нам сушки такие замечательные завезли!»

Додик принялся всматриваться в старика, а Памфил сразу приступил к делу.

«Отец Савватий, мы насчет иконописания».

Старик замахал руками и, как-то приплясывая, обошел стол, освобождая им место на креслице, а сам сел на лавку, поближе к буфету. Тихо себе напевая, он достал из буфета красивые чашки и нагнулся, ища что-то на самой нижней полке.

Памфил плюхнулся в кресло и засопел. Додик приготовился, ожидая, что сейчас все заведут этот вдумчивый, протяжный и непременно мудрый разговор на духовные темы, а он тихо послушает. Еще он чуть-чуть опасался, не потянет ли его на обычное «антиобщественное поведение», и поэтому устроился на лавке поближе к выходу. Однако вышло все удивительно не так, как Додик ожидал. И даже не так, как он опасался.

«Как же я могу вам сказать?» – выставив на стол сахарницу и помолчав, спросил старик.

«В Москве...» – начал Памфил и умолк.

Отец Савватий посмотрел на него довольно ехидно, снова вскочил и подбежал к окну.

«Пишем, пишем помаленьку, – сказал он бодрым голосом и засмеялся. – Хорошо!»

Тут Памфила прорвало. Торопясь, он завел речь о своем, наболевшем: падение России в пропасть, какие-то поругания – тут он посмотрел на Додика, махнул рукой и продолжил, – оскудения, потери духовности, неизвестно к чему приплел старушек на лавочках у подъездов, и закончил веско и грустно: «Что на Руси творится! Беда...»

Додик всматривался в отца Савватия. На протяжении всего памфилова монолога старичок аккуратно разливал чай по чашкам, иногда мелко-мелко тряс головой, то ли соглашаясь, то ли отвечая каким-то своим веселеньким мыслям. Гак вдруг пихнул Додика в бок и прошепел:

«Чего уставился? Поскромнее...»

«А зачем это? – удивился старик и посмотрел на него. – Ты его не пихай, у него свое разумение, своя дорога... Не надо, не надо...»

Гак поперхнулся сушкой и умоляюще посмотрел на Памфила. Григорий, до того спокойно и даже сонно стоявший в дверях, вдруг деловито застучал по косяку. Чувствовалось, что ему никакого душевного разговора не нужно, а вот некий практический вопрос разрешить вдруг потребовалось до зарезу.

«Может, лаком покрыть?» – спросил он, оглядывая косяк.

«Ты чайку тоже попей, – успокоительно сказал ему отец Савватий. – Лаком. Лаку не напасешься».

В голосе его проскользнула сварливость. Додик, надеясь вот сейчас произвести открытие, выгнулся вперед, и уставился на него, уже не мигая.

«Плохи в России дела, – обрадовался Памфил. – Ни лака нет, и досок хороших нигде не достать. Плохо у нас».

Тут старичок сделал неожиданную вещь. Стоя у окна, он широко развел в стороны руки, глубоко вздохнул и крутанулся на месте.

«Хорошо, хорошо у нас! – сказал он радостно и светло. – Хорошо, слава Богу!»

Он крутанулся еще пару раз, потом всплеснул руками, ухватил Григория под локоть и подтащил его, упирающегося, к столу.

«Хорошо на Руси!» – сказал он еще более счастливо, выбил ногами подобие чечетки, и что-то тихонько напевая, стал и Григория потчевать чаем.

Памфил замер, выпучив глаза.

«Да как же это? – выдавил он. – Церкви пустые стоят, одни старушки... Католики еще... заедают...»

«Католики! – смешливо хрюкнул отец Савватий. – Заедают!»

Он схватил охапку сушек и начал совать их в руки Памфилу и Гаку.

«Сушечек, сушечек... заедем!».

Додик склонил голову на плечо. Он залюбовался веселым стариком. Тот подмигнул и положил ему сушку прямо на макушку.

«Вот так и держи» – сказал он.

Потом ему так не понравилось, и он попытался вместо сушки поставить на макушку чашку с водой. Додик испугался и увернулся.

«Держи, не расплескай! – вновь засмеялся отец Савватий. – Держи, что есть».

Додик, чтобы хоть что-нибудь сделать, схватил чашку двумя руками. Старик остался доволен.

«И досточек хватит, – повернувшись к Памфилу, который мрачно жевал данную сушку, продолжил он. – Вон Сергей Александрович, он у нас и гробовщик, и храмоздатель. Говорит, хватит досточек, на все хватит».

Тут засмеялся Григорий, отставил свою чашку, и, хохоча на ходу, выбежал из избы.

«Благословите, отец» – вдруг хрипло сказал Гак.

«Это на что же? – хитро спросил тот. – Я-то благословлю, а ты сам-то?»

Гак покраснел.

Старичок похлопал его по плечу, и сказал ему в ухо, но громко:

«Благословляю, и Отцом и Сыном, и Святым Духом...»

Памфил так расстроился, что перестал есть и пить, и, надувшись, откинулся в кресле.

«Много сейчас пишут, как захотят, – снова обратился к нему старичок. – То художество. И хорошо!».

Он еще немного радостно потанцевал, а потом кинулся к другому шкафчику, у самой двери, и достал оттуда огромный альбом с латинской надписью: «Сандро Боттичелли».

«Вот – хорошо!» – пояснил он, и, в обнимку с альбомом, покачиваясь из стороны в сторону, подошел к Памфилу. Тот просиял и закивал головой.

«А-а-а!» – сказал отец Савватий и чмокнул губами. – А ты сходи, посмотри, в храме нашем, там есть...»

Памфил вскочил и, кланяясь, тоже вышел из избы.

«Чай не остыл?» – спросил у Додика старик.

Тот помахал головой.

«И хорошо».

Додик опять высунул голову, ожидая, что старик опять затанцует, но тот, отдуваясь, сел рядом с ним на лавку, и поднес чашку к губам.

Гак снова пихнул Додика в бок, и старик шутливо замахал на него пальцем:

«Не тычь, не тычь...»

Они еще чуть-чуть посидели, совсем молча. Додик начал стесняться, прятал глаза, рассматривал избу, и захотел спросить отца Савватия про бесов, красный угол и крестик. Но тут на него напала какая-то ласковая сонливость. Боясь неприлично зевнуть, он стал потягивать чай, не отрывая чашки от губ, и отец Савватий, заметив, что у него закончилось, подлил еще, приговаривая:

«Так, так и есть. Подлили – выпил, подлили – выпил...»

Потом он указал на вторую чашку, которую пытался взгромоздить Додику на макушку:

«А та полнехонька, с водой-то...»

Додик покивал, ничего не понимая. Гак завел разговор о совсем ученых вещах, но Додик внимательно слушать не мог, засыпал. Минут через десять Гак поднялся, неожиданно нежно погладил Додика по плечу. Додик понял, что пришла пора уходить.

«А то ночуйте в избе, Григорий покажет...», – сказал старик, заканчивая разговор, но Гак упрямо покачал головой.

«У нас и палатка с собой...», – пояснил он застенчиво.

Отец Савватий рассмеялся, неожиданно проворно прижал к одному плечу додиков нос, а к другому – плечо высокого Гака, и проводил их до крыльца. Там уже сидел сосредоточенный Памфил, рассматривая какие-то листочки. Старик одобрительно хмыкнул, осенил их троих знаком креста, и они, молча надев рюкзаки, зашагали по тропинке обратно в лес.

На следующий день они пришли в другое село, сели в автобус, и через день вернулись в Москву. Ту ночь они провели в палатке, но Додик ничего не помнил, ни костра, ни котелка, он сразу рухнул спать, и даже не помогал собирать сучья. Впрочем, на этот раз Памфил ему за это не попенял.

В Москве Додик потомился несколько месяцев, не в силах понять, что же такое произошло в избе у отца Савватия, и надо ли ему креститься и следовать за Гаком дальше. Тем более что Гак начал ездить куда-то по странным торговым делам. Следовать за ним было чересчур далеко. Появлялся он раз в неделю, но был деловит, прокурен и потен.

Он купил раздолбанный автомобиль «Запорожец». Стал на нем возить откуда-то из деревень сметанку и поросят. В обмен селянам он транспортировал ящики церковной литературы, которую получал в одном недавно открывшемся монастыре. Маневичам каждую неделю доставалось ведро сметаны. От поросят бабушка Серафима неожиданно отказалась. Да и сметану она долго нюхала, потом полведра меняла на другие продукты, но при этом прославляла ухватистость Гака и с восторгом изучала его «Запорожец». Она пыталась привлечь к обменной деятельности вялого внука, но Додик отбил. В это время на рынке царили карточки: на хлеб, сигареты, сахар и масло. Бабушка, словно вспомнив молодость, расцвела.

А у Додика целый год прошел очень скучно. Гак как-то завез ему пол-ящика разных библейских истолкований, словно забыл, что Додик не может читать. Книги пролежали полгода, а потом и их бабушка на что-то сменяла. Додик опечалился: неужели Гак больше не будет вести поиски света? Дальше было еще неприятней. Лето после девятого класса он провел на даче, и под руководством всех трех женщин Маневичей прилежно что-то полол, поливал, таскал и даже подлаживал. Женщины деятельно варили, сушили, солили. В это же лето случился ужасный августовский путч. Бабушка ходила смотреть «Лебединое озеро» у соседок. Мама и тетя Галя напряженно слушали «Эхо Москвы». Но в целом дачный поселок провел три дня и три ночи неразберихи вполне безмятежно. Председатель кооператива, живший за две дачи от Маневичей, сразу за Гакowymi, объездил все домики на мотоцикле и составил список сторожевых собак – на всякий случай. Когда демократия победила, старые большевики так долго и возмущенно обсуждали это событие, что Додику стало неин-

тересно. Даже на одного из героев, побывавшего перед Белым Домом, и привезшим своей семье на дачу какие-то сувениры, он смотреть не пошел.

В сентябре, когда Додик вернулся в Москву, выяснилось, что Гак поучаствовал в революции. На своем «Запорожце» он поехал навстречу колонне танков, с радиоприемником, как мигалкой на крыше, транслируя военным служащим правду о ситуации. Военнослужащие правду слушали и удивлялись, но в какой-то момент «Запорожец» Гаку был сильно помят бронетехникой. Из пережитого он сделал два вывода: во-первых, за сметанкой теперь ездить не на чем, и, во-вторых, пора вспомнить о христианской душе.

Кроме того, оказалось, что «проводнику» грозит армия. Грозил она ему уже года два, но раньше, в связи с общей неразберихой, про него как-то забыли. А теперь вдруг заинтересовались. Однако, с этой проблемой он справился быстро, за какой-нибудь месяц, правда, пришлось лечь в «дурку».

«Чего там! – рассказывал он потом Додику, радостный и слегка пьяный. – Там все такие же были, как я. Только один псих настоящий, с шестьюдесятью четырьмя зубами. Сложный мужик. Он все в тарелки нам разную гадость кидал... А я в покер играть научился».

Но полученное умение Гак использовать не стал. Он окончательно решил вернуться к духовности, коли ни сметана ни поросята искомого удовлетворения не принесли. Вызвав у Додика, что ему очень понравился веселый отец Савватий, Гак объявил, что его личный духовный рост весь год и даже в «дурке» не прекращался. И что он намерен по-прежнему помогать Додику в его личных исканиях, неважно, каковы они есть. Додик обрадовался.

Гак развернул кипучую деятельность и стал водить его к разным московским священникам. Первый поход состоялся к отцу Киприану, в прошлом – художнику-станковисту.

«Э!» – сказал отец Киприан, когда Гак протолкнул задумчивого Цыпленка в комнату, по старой памяти заваленную красками и мастихинами.

«Э!» – повторил он и задумался.

«Вообще-то я выкрестов не люблю», – прибавил он с сожалением.

Гак, раскрасневшись от переживаний, объяснил, что никаких выкрестов тут и нет, а вот такая у парня проблема.

«Не может читать? – удивился отец Киприан и залез пальцем в ноздрю. – Даже Священное Писание?»

Гак объяснил, что именно Священное Писание и не может.

«Тогда – вон!» – лаконично сказал бывший художник.

Следующий был священник из гуманитариев, о. Кирилл.

«Очень тяжелая проблема», – сказал он уклончиво и стал заваривать чай.

Гак, начитавшись того, что Додику и не снилось – по счастью для его измученного желудка – сформулировал четко:

«Давиду нужны непосредственные ощущения».

«То есть?» – о. Кирилл поднял бровь.

Гак зарделся:

«Ну, чтобы все самому... Напрямую...»

«Хм».

О. Кирилл с симпатией оглядел молодежь.

«Есть, конечно, разные способы, – заметил он. – Святогорские старцы разрабатывали... Шепотная молитва, умное делание. Но! Все предполагают знакомство со Священными Текстами...»

Третий был из физико-химиков и славился духовной дерзостью.

«Ха! – сказал он. – Ну вы даете! Сразу так – напрямую? А десяток лет помолиться?»

Он рассмеялся.

«Со всем можно справиться, – сказал он. – Но только не самому человеку. Потому что он кто? Правильно. Ждать и надеяться. Делай, что можешь. Борись и смирайся».

Он даже разработал особый курс вхождения в веру – календарный – для Додика, но ничего так и не вышло. Додик не понимал, о чем речь. А книжки по-прежнему вызывали желудочные перевороты.

Пораженный его нравственной тупостью, Гак затосковал. Он начал что-то плотничать на даче осенними вечерами, оставив на время руководство в додиковых мытарствах. Исправно ходил в тот храм, где раньше крестился. Даже несколько раз читал там что-то странное вслух. Додик зашел один раз: Гак, в необычном длиннополом наряде, запинаясь и свирепо вращая глазами, выводил напряженным голосом про каких-то «аглов» и «пришедов». Рядом с Додиком стояла чем-то ужасно недовольная старушка. На каждую запинку Гака она тихо сплевывала: «Тьфу, нечистый!». Гак громко произнес: «И сказал Гдь... сказал Господь...» Старушка еще раз сплюнула и ушла. В первых рядах перед Гаком стояли две девушки в пестрых платочках и иногда тихонько хихикали. Гак багровел шеей, но глаз на них не поднимал. Потом, отчитав все положенное, он удалился за алтарную перегородку, а через полчаса, уже переодевшись, вышел к Додiku во двор.

«Не выходит! – объявил он. – Ну не дается мне этот язык, хоть ты тресни... И отец Георгий все время ругается. По шее мне сегодня дал... Ругается.»

«Как ругается?» – изумился Додик.

«Как-как, – огрызнулся Гак. – Громко. И по-библейски. Библейскими словами, в общем.»

Но по его веселому виду понятно было, что слова отца Георгия его чем-то и радовали. Церковная жизнь понемногу затягивала. Вскоре он все-таки научился читать без запинки, о чем с гордостью доложил Додiku. Речь стала его важна и медлительна. А в феврале он взял и поступил в Д-ский монастырь – пока трудником. Додик его посещал.

С каждым разом Гаков выражался все более невразумительно. Порой в его речи недоброжелательно упоминались какие-то баптисты, анабаптисты и пятидесятники. Более почтительно он говорил о «катакомбной церкви» и даже о «церкви за рубежом». Монастырь был близок к делам патриархии и его порой сотрясали скандалы, связанные то ли с ересями, то ли с недостатком средств на починку колокольни. Чем ближе была весна, тем суетливей становилось в обители. Батюшки из главного храма зыркали на Додика из под густых бровей и неодобрительно качали головами в черных, матерчатых колпаках.

Но иногда монастырь погружался в ощутимую благость. Тогда Гак заводил Додика в чьи-то кельи и показывал деревянные доски, покрытые белым левкасом. На некоторых карандашом были набросаны удлинённые фигуры бородатых мужчин с кружками у головы.

«Так пишут иконы», – поучал Гак.

Додик внимал. Готовые иконы ему нравились больше. Еще больше ему нравились рассказы о древних старцах, но Гак почему-то утверждал, что это все «прелесть».

А однажды Додик застал монастырь в каком-то недоуменном молчании. Кончилась еще одна зима. Солнце грело уже вторую неделю. Весенние галки тихо перемещались между недавно проросшими, трогательными травинками, и косили на Додика маленькими глазами. Монахи скользили как тени, и только Гак оказался в ехидно-приподнятом настроении.

Он вывел Додика за ворота и стал похлопывать себя по бокам, и подмигивать. Додик морщил нос и ожидал начала.

«Скудеет разумом братья, – заговорил Гак с неясным весельем во взгляде. – Намедни, слышь, отца Евлампия разоблачили».

Он сделал паузу и помолился.

«Келарем у нас отец Евлампий, – пояснил он. – Но уж очень пристрастен к пьяному зелью...»

Тут Додику пришлось подождать еще минут десять, пока Гак совершал все необходимые внутренние ритуалы.

«Он у нас просфоры печет. И, слышь, дрожжи тащит... Так вчера все утащил, сварил себе бражки, упился пьян и палец порезал. А потом с таким резаным пальцем – за просфоры. Грех-то какой...»

Додик, испугавшись, что после таких слов Гак вообще убежит молиться в отдельную келью дня на два, поспешил уточнить:

«И что получилось?»

Гак опешил и охнул:

«Маца, Дав, получилась, маца на христианской крови! Грех-то какой...»

В этот момент к ним в подворотню зашли два худющих монаха и начали на них с испугом смотреть. Поняв, что это свои, они сели на корточки.

«Грешны, ой грешны, – забормотали они, вторя Гаку. – Прости Господи!»

И закурили.

«Епитимью на отца Евлампия наложил настоятель», – продолжал Гак шепотом, но вдохновенно.

Додик прислушался, интересуясь, чем же таким мог загладить свой тяжкий грех бедный келарь.

«Три дня не пить!» – зверским голосом проорал Гак.

Кутившие монахи испугались, загасили бычки, и бормоча, убежали.

Додик удивительно просто сдал в положенные экзамены за десятый класс и отправился к Гаку в монастырь советоваться. Он по-прежнему надеялся, что «проводник» расскажет ему, что делать дальше.

Но Гак, как ему рассказал один юркий послушник, был серьезно наказан. Теперь ему не полагалось общаться с «мирскими». Ему полагалось о чем-то скорбеть. Выслушав послушника, Додик согласился. И правда, после рассказов самого Гака он не сомневался: ему самому здесь не место. «Проводника» затворили. Додик остался один на один со странным миром духовности.

Так, сам собой, летом 1992 года закончился для него долгий христианский период.

Глава 4. Мощь просвещения

Закончив свою незаметную школу, Додик и думать не думал куда-либо поступать. Сама идея о каком-то институте была ему непонятна и чуть-чуть неприятна.

«Ладно, один год до армии у тебя впереди есть, – согласилась, вдохнув, мама Галя. – Но и шляться без дела я тебе не позволю».

Тут кстати вспомнилось, что он уже взрослый и пора ему самому зарабатывать. Хотя и у мамы, и у бабушки, и даже у отца, который с ними не жил, но считал себя в курсе, были серьезные сомнения в том, что Додик сможет работать. Отец, склонный к гуманитарным дисциплинам, договорился – по телефону – с одним своим давним и далеким знакомцем. Знакомец работал в Музее.

И Додика взяли в Музей. Его должность называлась двояко: в трудовой книжке значилось: «младший техник Отдела Внутренней Охраны», а в той книге, где он расписывался за зарплату, стояло: «грузчик».

Но ни то, ни другое название действительности полностью не соответствовало.

Например, Отдел Внутренней Охраны, как оказалось, состоял не из крупных мужчин с тяжелым взглядом и большим арсеналом свистков, дубинок и пистолетов под кожаной курткой. На это существовал полк милиции и целых два музейных чекиста. Но с ними Додик почти что не виделся. Если менты в основном сидели в будке на заднем дворе, то чекисты мрачно скрывались за занавесочкой у главного входа. Иногда они вдвоем выходили покурить на крыльцо, и озирали окрестности пронзительным взглядом. Порой им сверху спускали какое-то идеологическое указание. Тогда чекисты развивали бурную деятельность, тоже, слава богу, Додика не касавшуюся. По очереди вызывались за занавесочку научные сотрудники и искусствоведы: чекисты предлагали «содействовать». Ходили слухи, что раньше власть их была велика. Теперь их едва можно было заметить.

Отдел же Внутренней Охраны был иным по составу. Правда, во главе его находилась женщина совершенно героической наружности, которая в прошлом служила завучем в интернате для беспризорников. Она звалась Железная Жопа и напоминала, что габаритами, что крикливостью, пароход. Это был первый человек, которого Додик встретил в Музее. Встретил и затрепетал. Железная Жопа, выпятив челюсть, неодобрительно оглядела тщедушного Цыпленка и что-то невнятно прогрохотала про ненужных блатных. Додик только вздохнул.

Основной же костяк ВОХРа были старушки-смотрительницы, те самые дремальщицы по залам. Потом имелись юркие и воздушные, совершенно небесные существа: девушки-уборщицы. Они приходили раньше всех и, весело щебеча, мыли весь Музей вонючими тряпками. Додик порой видел одну или двух, слегка задержавшихся на главной лестнице. В такие моменты у него внепланово кружилась голова, и он чувствовал некую внутреннюю торжественность.

Остальные представители ВОХРа были такие же неопределенные люди, как Додик. Грузчики. Младшие техники. Или попросту – повесчики картин.

Первый коллега, которого встретил Додик, звался коротко: Дим. Дим сидел в душной каморке, куда вела узкая винтовая лестница с ажурными и цеплюче-назойливыми ступеньками. Он сидел на огромной картонке, скорчившись под низким потолком, сбоку от жаркой трубы и тусклой лампы. Явление Додика он приветствовал громкими, веселыми воплями.

«Ого-го! – заявил он, и хлопнул рукой по картонке, приглашая садиться. – Только туда, на свободное место».

Додик кивнул и пригляделся. Вся картонка, за исключением крошечного пятачка (как раз под его тщедушные ягодицы), была изрисована маленькими солдатиками. Как объяс-

нил Дим, в основном русскими и французскими, времен наполеоновских войн. Более поздние военные действия он за таковые не признавал. Иногда, ради разнообразия, он рисовал австрийцев, итальянцев и пруссаков той же эпохи.

В каморке Диму было не до изучения Додика. Но когда они отправились на первое задание, то он разглядел додиков нос и опечалился.

«Ну и ладно», – промолвил Дим, словно перед кем-то оправдываясь.

Правда, окончательно справиться с этой печалью ему не удалось. С тех пор, стоило Додику, увлеченно пыхтя, проникнуть в каморку, как Дим начинал с бешеной скоростью рисовать своих солдатиков, словно спешно создавая личную армию для защищения здравия. Иногда, оторвавшись от картонного поля боя, он бредил масонами. Вспоминался Новиков и Радищев, и прочие революционеры. Дим был человеком старой закалки: будущее России казалось ему безмятежным только при условии избавления от евреев. При этом во всех остальных вопросах он Додика с легкостью переносил. Даже с охотой руководил, рассказывал бесконечные, непонятные исторические анекдоты и одалживал денег на булку в буфете. Его антисемитство было абсолютно не загрязнено бытом. Оно было чистое и высокое. В принципе, против Додика как такового он ничего не имел. Он возражал против Маневичей, и особенно Давидов. Не в силах даже произнести ни одно из двух этих слов, он предпочитал обращаться к Додику официально: «коллега».

Но Дим составлял в Музее скорбное меньшинство. Остальным было наплевать на национальность кого бы то ни было, включая и Додика, и самого Дима. Большинство попало под особую магию самого места, где они оказались, Музея.

Музей был огромен. Он включал в себя трехэтажное здание со всеми двадцатью выставочными залами, башней спецхрана, библиотекой, архивом, буфетом, службами, сторожками и каморками, лестницами и балюстрадами. Но главным были подвалы: там находились отделы, где трудились старшие искусствоведы и искусствоведы просто, графики, реставраторы, лаборанты и секретари. Однако подвалы славились вовсе не этим: они были настолько мистичны, что любые готические подземелья перед ними беспомощно меркли. Несколько петляющих переходов вели от отдела к отделу: эти трассы освещались тускло и не всегда. Они были забиты шкафчиками, какие ставятся в школьных раздевалках, сломанными рамами и витринами, колченогими стульями, рулонами войлока и поролонa, иногда толстенными непонятными трубами. Там надо было ходить с фонарем, а опытные искусствоведы передвигались, зажмурившись, и на ощупь. Передвигаться им было необходимо, ибо «отделы» представляли собой ничто иное, как ряд просторных хранилищ, где, как листы гигантской нескончаемой книги, стояли картины. Додик в переходах сначала плутал, а потом полюбил их и научился там прятаться от неугомонных начальников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.